

АЛЕКСЕЙ ВУЛЬФОВ

СЕРГЕИЧ

Русская культура и журналистика понесли тяжелую утрату. 15 октября 2018 года на 58-м году жизни в больнице города Дмитрова скоропостижно скончался от тяжелой болезни выдающийся композитор и журналист Иван Сергеевич Вишневский.

Сергеевичем зову его по праву, потому что знаком с ним ровно сорок лет и полжизни прошел вместе с ним, будучи его самым давним другом. Когда мы учились в музыкальном училище, то звали друг друга – мальчишки – Борисыч и Сергеич. Все смеялись, но мы с тех пор так и величались до того дня, пока Ваня не ушел.

Однажды Валентин Распутин побывал на нашем концерте в Рахманиновском зале, где Владимирский хор “Распев” исполнял наши сочинения. После, когда мы обнялись на сцене, улыбнулся и сказал: “Больше всего мне понравилось, как вы тепло относитесь друг к другу...”. Потом посерьезнел: “Музыка Вишневского – хороша, сильна”.

Да, это так. Иван Вишневский – это выдающееся, уникальное дарование.

Когда он поступил заниматься к известному московскому педагогу Владимиру Кирюшину, у которого мы и познакомились перед поступлением в училище весной 1978 года, у него совсем не было координации слуха и голоса. Отлично помню, как он – юный портретно красивый и броский – долбил часами одну и ту же квинту, вымычивая правильный тон, мучительно подтягивая интонацию к верной высоте под пристальным взглядом Кирюшина, разглядевшего в Ване самобытный талант. И так по шесть часов в день. Слух он себе, трудясь непрерывно и упорно, просто сделал. Музыкай начал заниматься в 16 лет – очень поздно. И за полтора года овладел игрой на фортепиано. Между прочим, занимался и рок-музыкой, вообще рок очень высоко ценил, чего не скажешь о джазе и эстрадной музыке. В самых первых сочинениях, еще в училище, уже использовал электрогитару.

С юности был очень образован, читал без конца, книги всегда раскрытые тут и там лежали возле пианино в комнате в доме на улице Правды, был вообще очень внимателен и вдумчив в книжном чтении. Общаться с ним было необычайным удовольствием, когда он был в духе, воодушевлен и мечтателен.

Несмотря на аристократическое богатырское сложение (бедный женский пол, помиравший по нему!), ел очень мало и был крайне непривередлив в одежде и в быту с юности. Никогда не имел лишних денег, вечно нуждался, экономил или просил “ссудить” в буфете и в поездках, но к стилю жизни семьи и происхождению был мальчиком “мажорным”, что называется – советским дворянином (отец – корреспондент “Правды” в США, мать – поэтесса).

Все подобные “мажорные” блага того времени, открытые ему нараспашку, вроде валютных баров, кафе “Метелица” и модных “сэйшенов” на престижных дачах, он категорически отверг, избрав путь служения высокой культуре, путь огромного труда (в училище труд наш был очень тяжелым, там научили не терять время на всю жизнь, научили там и любить музыку, боготворить ее буквально; и еще, за что низкий пожизненный поклон – научили быть неравнодушными, любопытными, как говорил Г. В. Свиридов – “живыми”).

В то время – 1978–82 гг. – отделение теории музыки в училище имени Октябрьской революции было местом не только высоко престижным, но и с исключительными требованиями, поступить туда было очень трудно. Ваня по окончании училища владел рабочей азбукой музыканта – сольфеджио, музлитературой – буквально акробатически. Окончил Ваня училище как пианист фортепианным концертом Грига и первыми собственными великолепными сочинениями – например, песнями на слова его матери С. С. Вишневской, среди которых – “Самым нежным словом ее позвать готов”, некоторыми хоровыми вещами, много писал камерной музыки, вообще был очень плодovit и серьезен в сочинительстве и пытлив к музыкальной стилистике с первых дней в профессии. Педагогом нашим по композиции в училище был замечательный человек и музыкант композитор Виктор Иванович Егоров, сразу оценивший Ванин талант и очень много ему давший. Ваня приобщил меня в училище к Римскому-Корсакову, я его – к П. И. Чайковскому. Ходили не разлей вода – Борисыч и Сергеич, всегда во всём вместе, все смеялись вокруг. Он очень, буквально по-братски поддерживал меня в учении и в жизни, вообще всегда стоял за меня и за мои труды, как друг. С тех пор не могу говорить о нем одном – только о нас вдвоем, это объективно.

После училища оба по разным причинам не поступили в консерваторию, зато учились у выдающегося педагога и замечательного композитора, превосходного музыканта Татьяны Алексеевны Чудовой. Нас отметил композитор Николай Иванович Пейко, и мы были взяты им в Гнесинку на композиторский, где началась истинно золотая пора жизни и творчества Ивана Сергеевича. Там он создал уже шедевры, впоследствии высоко отмеченные Георгием Свиридовым – “Три хора” на русские народные слова для женского состава (мы с ним дружили тогда с женским камерным хором под управлением Романа Моисеева и Ирины Кампанцевой), шесть пьес для скрипки и фортепиано, которые великолепно играла Леонарда Бруштейн, симфониетту для струнных. Во всю силу сложился и зазвучал его яркий и исключительно самобытный талант, углубленный в почву народной музыки, которую он боготворил с юных лет. Обожал петь со мной народные песни из хрестоматии фольклора. Иногда выдумывали мы с ним песни в русском аутентичном стиле и распевали на два голоса. Уже тогда он нашел свою уникальную мелодическую интонацию со своей собственной ладовой завязью, своим мотивом, “клише”, Свиридов отмечал это в ряду других Ваниных, как он говорил, “патентов”.

В период Гнесинки произошло у него два основных события: он познакомился с Георгием Васильевичем Свиридовым (и меня с ним познакомил, за что я неугасимо благодарен ему на всю жизнь) и был принят работать редактором Всесоюзного радио, что по тем временам было неслыханным жизненным везением. Если первое стало одной из основ его жизненного и творческого самообретения (мы любили музыку Г. В. Свиридова восторженно, она была для нас идеалом музыки), то второе, на мой взгляд, оказалось для Вани роковым. Радио с его тяжелой рутинной, нервозностью и возлияниями было совершенно ни к чему его свободному полетному таланту. Оно очень помешало, а не помогло ему в композиторской работе – я глубоко в этом уверен.

Работая на радио, он многим помогал, в том числе и мне, часто приглашая и давая не только эфир для творчества, весьма почтенный при тогдашнем культурном высококлассном радио (ныне совершенно уничтоженном), но и заработок – и всё бескорыстно. Он вообще не знал мздоимства и хитрости – это был ребенок, истинный ребенок – то злой и капризный, то просто ангельский и искренний, но неизменно нараспашку открытый. Был очень прям, порой бесцеремонно, неуживчив, легко ссорился, говорил только то, что думал, был независим и горд, с чрезвычайно развитым чувством собственного достоинства, храбр, мог драться, презирал боль, хотя был очень нездоровым человеком (хроническая астма), и резко прямолинейным – это многим не нравилось. Во всяком случае, мало кто отблагодарил его за тогдашние

эфир, пропагандировавшие современников. Если что-то нравилось ему в чужом творчестве — он готов был носить с этим и перевозносить на каждом углу и в эфире, вообще был восторжен, когда сталкивался с примерами яркости, оригинальности и таланта — и не только в музыке, вообще в жизни. При слушании хорошей музыки всегда испытывал озноб, словно от холода, даже ежился, в том числе и когда играл на фортепиано классику.

Иван сделал первый “День Свиридова” в истории радио в 1988 году, мужественно пропагандировал музыку Свиридова, который был в среде тогдашних снобов-академистов, особенно авангардистов, куда больше опален, чем перевозносим.

Изнурительная тягота радио и всё чаще затеваемые возлияния сильно утомляли его, отвлекали от творчества. Нужно было при этом кормить двоих детей. Огромным поражением для него стало непринятие в Союз композиторов, куда он попытался вступить без чьей-либо протекции. Думаю, это был самый сильный удар в его жизни, и безусловно, решение в отношении него несправедливое и жестокое. Ваня был крайне самолюбив, и это был удар по самому чувствительному и незащищенному в нем.

Союз композиторов Москвы решительно не принял его, уже получившего величайшие похвалы от Г. В. Свиридова и сочинившего произведения, совершенство которых не подвергалось сомнению профессионалов, их слышавших. Горячим приверженцем музыки И. С. Вишневецкого был и выдающийся композитор Борис Александрович Чайковский, очень помогал нам с Ваней в молодые годы корифей академического жанра Сергей Михайлович Слонимский, к которому я возил Ваню в Ленинград на электровозе по своим железнодорожным возможностям (Сергеич вспоминал эти поездки всю жизнь, они были для него очень романтичны и событийны; особенно любил вспоминать он ночные железнодорожные столовые, кипучую ночную жизнь на путях, красоту и поэзию бегущих огней...).

Позже Ваня вступил в Союз — но это был уже совсем не той силы Союз и не тех возможностей. Будь он принят в Союз тогда, в 1990-м, его жизнь несомненно сложилась бы иначе и совсем не так драматично.

На радио делал он яркие, интересные программы, собирал аудиторию, всегда несколько экзальтированно, своеобразным тембром голоса говоря о том, что волновало его в музыке. Однако вскоре пришел 1992 год с его бульдозерным ножом по всему живому, и не стало ни Всесоюзного радио, ни закупочной комиссии Союза композиторов, ни, что самое печальное, той интеллигенции, того уровня культуры, того уровня восприятия; жизнь опошлела, стала, как говорил он про Яхрому, “сплошная Каперна” (темная деревня в “Алых парусах” А. Грина). Лихие 90-е проехали по всем людям честного труда, и Ваня не исключение. Почернела жизнь его в те годы, на глазах гибло и “терялось всё, что дорого”, как говорил он. Враз ушли и престижность, и самый смысл академического композиторского труда, сочинением музыки попросту стало невозможно жить, “ценности” пришли совсем иные. Композитор-академист из суперэлиты враз превратился в какое-то не совсем нужное людям существо. Отрасль искусства, искони задававшая умонастроение интеллигенции целых эпох, превратилась в черепки. Конечно, во многом виноват в этом, так сказать, сам жанр, сама среда, оказавшаяся неспособной к сплоченности и жертвенности в трудный час — но кто тогда оказался к этому способным?.. Государство продало достояние Гостелерадиофонда, сделав из него коммерческую лавочку, прекратило как подобает поддерживать академическое искусство.

Ваня в 90-е мужественно предпочел бедность и отверженность “лакейству перед веком своим”, твердо остался на своем пути, равнодушно, как истинный христианин, терпя тяжелые болезни, крайнюю нужду, неурядицы, отсутствие нормального жилья, мотался с женой Галей по квартирам, никогда и ни на что не жалуясь — включая здоровье, презирая заботу о нем. Немало губил его, конечно, и известный русский недуг — эта смертная коса всегда обильно косила и косит на Руси. Ни о каком так называемом карьерном росте не могло быть и речи. Угодать он не умел — был скорее неуживчив, на обиду вспыскивал как порох, не глядя на чины, возрасты и звания.

Но он, каким бы ни был, оставался собой и никогда не прекращал сочинять, выступать, писать статьи, делать передачи, участвовал в основании и работе “Народного радио”, где собрал свою аудиторию и стал популярен,

не говоря уже о том, скольких музыкантов и вообще ярких людей он пропагандировал там. Жилось ему трудно – порой впадал в нищету в буквальном смысле. Работал одно время таксистом в Яхроме, куда переехал жить из Москвы по семейным причинам (при этом уговаривал разнузданных пассажиров-“капернцев” не ругаться матом при детях, иногда его звали за это “махаться” пьяные разнузданные “папочки”, которых очень не хочется называть русскими). Он вообще никогда не боялся никакого труда, был уверенно, по-мужицки самостоятельным: сам привел в порядок и обшил деревом свою уютную квартиру в Яхроме, куда забросила судьба, сам научился водить машину и прекрасно ездил, сам мог смастерить любое приспособление, сам овладел сложнейшей программой компьютерной нотации, создав дома вполне налаженную студию, сам ремонтировал машину. В юности работал вместе со мной преподавателем в музыкальной студии завода “Серп и молот”, младшим продавцом в булочной и еще каким-то продавцом, на радио стоически выносил всю эту рутину писанины и прочего, связанного с нервным редакторским трудом, всегда в любой работе был очень сосредоточен и вдумчив, нетороплив, тщателен и упорен. Вообще, когда он был спокоен, трезв и благодушен – это был ангел, это был человек, с которым не хотелось, чтобы кончался день, и замены тому общению никогда и ни с кем не будет, ибо он очень много знал, был высоко умён, всё подхватывал на лету. Он был полетно, пространственно интересен и близок по взглядам; мне очень тяжело, что его нет, после смерти Свиридова это второй пример потери совершенно невозвратимой и безвозвратной, которая отнимет часть жизни. Его присутствие в ней, даже присутствие за скобкой, когда общения и не было, ввиду его незаменимости было исключительно важно.

Много было у нас общего, в котором главное – верность красивому, нежелание менять это на безобразное, главенство русского, славянского, торжество классики, культ красивой мелодии в музыке, открытое восхищение всяким прекрасным моментом в ней, восторженность мастерством. Так или иначе, Ваня и в стилистике музыкальной, и в обиходе был оригинален, порой декларативно, надуманно – но только чтобы “не как все”; причем искал оригинальности во всем. Если видел в чем-то проявление красоты, таланта – радовался щедро, как ребенок, щурясь от счастья, перевозносил, восхвалял без числа, у него чуть что – сразу все гении: “Композитор Довгань гений, Муравьев гениальный пианист, Вульфов гениальный писатель!!!” – и так далее... (очень любил друзей, был к ним очень щедр душевно). Никогда никому не завидовал – любому проявлению таланта и красоты у других только радовался. Радоваться вообще умел – причем порой какому-то совершенному пустяку, какой-нибудь подаренной свинке (он коллекционировал фигурки свинок), счастливо рассматривал ее и приговаривал: “Ну и гарна же вона... Скажи?”

Помогал привеченным людям, знакомил их, объединял, восхвалял, не опасаясь “высокопарных слов” – совершенно бескорыстно. Со всеми, кого приближал, бескорыстно, активно дружил, таскал с собой в любимый Крым, в любимый лес, давал слушать любимые записи – всё у него было любимое...

Я должен был набирать у него дома для печати – году в 2005-м – ноты своего сочинения из шести хоров. Оставил ему партитуру, сказал, что приеду недели через две, займусь. Приезжаю – он хитро щурится на меня: “Борисыч, я, честно говоря, не знаю, зачем ты приехал”. И ведет меня за компьютер – а там все мои ноты набраны. Я просто остолбенел. “Решил немного подэкономить твое зрение и заодно поучиться у тебя, многое мне очень приглянулось”. Всё поддерживал меня, близил к музыке, как мог. Знал, что у меня плохое зрение – и сам сделал, двухнедельный ежедневный труд. Кстати, всегда настаивал, поддерживал, подсказывал, поправлял, у меня не все получалось. Он был, конечно, гораздо опытнее и мастеровитее меня, как композитор.

Ельцинизм и всю эпоху за ним вплоть до настоящего времени он не принял категорически. И боролся со злом своего века как только мог, сделавшись не только журналистом, но и политиком. Ему были кровно чужды обывательщина, пошлость, мещанство – это было несовместимо с ним абсолютно под страхом гибели (которая и последовала именно от своего века – от этой беспомощной больницы, разоренной государством, где ничего не способны сделать, где Галя ходила-покупала лекарства и пленки). И здесь был прямолинеен и бескомпромиссен, и здесь кричал правду, как думал. Ванины статьи

в “ЛГ” и в “Завтра” многим хорошо известны. Тягчайшим горем и разочарованием стали для него, наполовину украинца, события на Украине, им обожаемой, которой посвящал он и музыку (в юности была у него опера “Ярмарка в Голтве” на слова Максима Горького). Современность была для него образом врага – искорежившего, погубившего его любимое дело, любимые миры, “буквально всё, что близко и дорого”. Он мстил ей, как мог, обиженный на нее остервенело, словно ранимый ребенок, которому с усмешкой изломали любимую игрушку – то уходя в православие, то в политику, то в политическую журналистику. Но современность всё это мало беспокоило – она менялась и менялась в сторону измельчения и опошления. Таких, как он, давила незаментно и равнодушно.

Между тем яхромский период его жизни в целом представляется светлым, полным не только тягот, но и отрад. Его второй женой стала Галина Вишневская – пример настоящей русской женщины беспримерного мужества и преданности, которая столь раз спасала его от гибели, верная его почитательница, защитница и помощница. Полагаю, уходу и заботе этого человека, растворенного в Ване, мы обязаны тем, что Иван Сергеевич в яхромскую пору просто дожил ещё несколько лет. В Яхроме он обрел то, что любил не меньше музыки – лес и грибы, в которых разбирался ничуть не хуже профессионального ботаника, величал названия их по-латыни, обожал их, хотел писать о них книгу (представляю, как занимательна была бы она при его начитанности и литературном таланте!). Переехав в Яхрому, он, я бы сказал, решительно, с явным даром естествоиспытателя изучил здешние леса и уверенно ездил в них на своем “жигуленке” за грибами, точно выводя на места, надежно ориентируясь, как в доме родном. Стихотворение Рубцова “В лесу” – это просто лирический гимн Вишневого, недаром он написал хор на эти слова. Тяжко переживал вымирание леса из-за современного разора и безумия. Грибы ездил собирать до ноября, раз я приехал к нему поработать на нотном компьютере, и он заявил, что съездит тут недалеко на часок по грибы... за окошком первого этажа утлой пятиэтажки шел снег... Я остался в прокуренной квартире – увя, он курил много, научился у меня, жаль (я потом сумел бросить). Привез через два часа какие-то два ярких красных грибка, сам раскрасневшийся, довольный тем, что побыл в лесу, в снежной свежести, которой дивно запахло от него в доме.

В яхромский период он сочинил великолепные свои хоровые вещи на народные слова (“Ладные песни”) и хоры на слова Н. Рубцова, столь созвучные тогда его лесному, отрезвляющему, примиряющему настроению (чудесную, богатую, широкую музыку эту великолепно исполнил Владимирский камерный хор “Распев” под управлением Н. А. Колесниковой). Он написал тут обоих “Лирников” и великолепный, особенно во второй части, мистический, неземной фортепианный концерт (какое-то воплощение самой бесконечности времени, словно ломоносовское “звездам числа нет”). Здесь написал он замечательные вещи на малоизвестные слова незаконченных произведений Гоголя – ораторию “Наброски драмы из украинской истории”. В ней есть по меньшей мере два шедевра – “Катерина и Онисько” – и грандиозный марш “Казачи идут”. Здесь мечтал он написать книгу о грибах; здесь он активно занимался фольклором с выдающимся нашим фольклористом В. В. Щуровым и стал виртуозным мастером и знатоком фольклора, буквально пропитался им насквозь. В Яхроме он написал свой шедевр – хор “Поезд” на слова Рубцова, с триумфом прозвучавший в Рахманиновском зале в блистательном фортепианном сопровождении Александра Муравьева и Владимира Довганя, близкого друга Вани – в лучшие времена это была бы музыка века, ее взяли бы заставкой к программе “Время” или куда-нибудь в этом роде.

Яхрому... возрождающийся понемногу теплый, сосредоточенно молитвенный внутри огромный храм со знаменитой колокольней, видимой со всей округи за десяток верст, свеча под высокими сводами в благодати большого покойно-темного пространства возле всего нескольких попервости икон на старой штукатурке, тихий подмосковный снег и приземистая неторопливость вокруг, старый деревянный дом на пути... Приезды к нему в Яхрому были тогда сплошным наслаждением – Ваня был в ту пору благодушным, восторженно возбужденным, ему сочинялось, много говорили о Рубцове, Л. Гумилеве, Свиридове, его любимых скифах и древней истории, которой так болел он – конечно, вообще о русском, о российской судьбе. И невозвратимость этих

счастливых дней слепа и грустна, хоть как понимай смысл времени и смерти.

Он никогда не бросал сочинять, оставаясь музыкантом до последних дней. Восторженно воспринял создание сообщества современных композиторов группы “МОСТ”. Превосходный Патриарший хор под руководством И. Б. Толкачева исполнил на Рождественском фестивале его колядку “А в Иерусалиме” — сделана она как величественная книга или вдохновенно сложенный храм, с долгой и энергичной мелодией, с патетикой возгласов, с мудростью и красотой вывода, с красочностью орнаментики подголосков, с растроганностью оглядки на старину, с невыдуманной широтой образа, далеко превышающей границы жанра, с феноменально точной и щедрой выделкой партитуры. Эта его колядка — просто новое явление в хоровой музыке нашего века, и если бы была у нас мыслящая, о чем надо думающая, истинно, а не картонно патриотичная страна — это сочинение стало бы одним из ее чуть ли не гимнов, символов. Иван Вишневский — это, конечно, классический хоровой мастер, недаром ряд хоров пел его музыку без всякого зазывания, дирижеры сами находили ноты в интернете.

Никогда не сомневался я, что его музыка еще найдет свое новое обретение и станет почитаемой и желанной многими неравнодушными людьми.

Что же до его политических взглядов, политической деятельности — то я всегда относился к этому холодно, как к чему-то привнесенному, вынужденному в его жизни, и писать про это не хочу, ревнуя к его музыкальному таланту, даваемому всей этой “борьбой”. Давать такую оценку — мое право его старого друга, и я оставляю это право за собой. По моему глубокому убеждению, активные занятия политикой не могут быть полезны никогда и ни в каком виде человеку, работающему в области создания эстетических ценностей; во всяком случае — не могут главенствовать в его жизни. Но он выбрал политику для себя — а значит, это было нужно и ему и, стало быть, нам. Он в этом видел исполнение своего долга — а был он очень патриотичен, порой декларативно. Значит, так было надо.

Но и тут талант во всем оказался талант. Журналистом он получил свою аудиторию — как грандиозный компьютер он, работая в “Дне” и в “Завтра”, делая пару программ в день ради заработка, перерабатывал самую разнообразную информацию, осмысливал ее и преподносил людям порой яростно, противоречиво, но неизменно вещательно и ярко, всегда горя неравнодушно. Равнодушие, равно как истекающие из него пошлость и скуку, он ненавидел всем сердцем, душа его была беспокойна и пламенна. Это был без всякого сомнения пассионарий. Всё, что он делал, чем и как жил — нравилось оно или нет — было искренним и выражалось неизменно прямо. “Я долго учил себя, Борисыч, выражать людям в глаза, что думаю, невзирая на лица. Это было не просто, но я, по-моему, выучился”.

Это был человек с идеалами.

Эх, Ваня, Ванечка — поздно ты родился, годиков бы на двадцать раньше; *не ко времени* пришелся ты и твой талант. Ты неудобен и вычурен слишком для века сего. Потому и проводил он тебя вот так — неприкаянно ушел скромной, отшельной смертью без воздыханий вокруг одра. Он вообще был, при всем своем самолюбии, необыкновенно скромным, невзыскательным, очень неприхотливым человеком. Всё, что он хотел — это чтобы музыку его слышали люди, и справедливо считал, что имеет на это право.

Но всё осталось в нотах, слава Богу. Не сомневаюсь в воскрешении его творчества.

Так хочется увидеться в урочный час с ним на небесах, и такими увидеться, какими были мы когда-то — молодыми, очарованными; вечно вдохновленными чем-то, с кладезем столько доброго и полезного в себе, с всегдашним почитанием прекрасного. В такую пору, когда и сам молод, и ветер, и небо, и листва вокруг тебя молоды, и рубаха весенняя на тебе вздувается, и молодцы надежды, мечты, поцелуи... Встретиться с тем, прекрасным, всегда озаренным величавым красавцем Ванькой — “привет, Сергеич!”, “а, вон кто идет! здоровеньки булы, Борисыч!”, встретить его любящую, но и строгую улыбку старшего брата. Увидеть его сильные глаза смеющимися, думающими, сочиняющими. Опять попить тот чай из неизменно огромной чашки в той крохотной кухне яхромской, собрать с ним на поляне и почистить дома за разговором о вечном те грибы.

Вечная память.